

Charles
DICKENS
1812–1870

Чарльз
ДИККЕНС

Холодный дом

Роман



Санкт-Петербург

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)-44
Д 45

Перевод с английского
Мелитины Клягиной-Кондратьевой

Серийное оформление Вадима Пожидаева

Оформление обложки Валерия Гореликова

ISBN 978-5-389-18319-3

© Издание на русском языке,
оформление.
ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“», 2020
Издательство АЗБУКА®

ПРЕДИСЛОВИЕ

Как-то раз в моем присутствии один из канцлерских судей любезно объяснил обществу примерно в полтораста человек, которых никто не подозревал в слабоумии, что хотя предубеждения против Канцлерского суда распространены очень широко (тут судья, кажется, покосился в мою сторону), но суд этот на самом деле почти безупречен. Правда, он признал, что у Канцлерского суда случались кое-какие незначительные промахи — один-два на протяжении всей его деятельности, но они были не так велики, как говорят, а если и произошли, то только лишь из-за «скаредности общества»: ибо это зловредное общество до самого последнего времени решительно отказывалось увеличить количество судей в Канцлерском суде, установленное — если не ошибаюсь — Ричардом Вторым, а впрочем, не важно, каким именно королем.

Эти слова показались мне шуткой, и, не будь она столь тяжеловесной, я решил бы включить ее в эту книгу и вложил бы ее в уста Велеречивого Кенду или мистера Воулса, так как ее, вероятно, придумал либо тот, либо другой. Они могли бы даже присовокупить к ней подходящую цитату из шекспировского сонета:

Красильщик скрыть не может ремесло,
Так на меня проклятое занятье
Печатью несмыываемой легло.
О, помоги мне смыть мое проклятье!

Но скаредному обществу полезно знать о том, что именно происходило и все еще происходит в судебском мире, поэтому заявляю, что все написанное на этих страницах о Канцлерском суде — истинная правда и не грешит против правды. Излагая дело Гридли, я только пересказал, не изме-

нив ничего по существу, историю одного истинного проишествия, опубликованную беспристрастным человеком, который по роду своих занятий имел возможность наблюдать это чудовищное злоупотребление с самого начала и до конца. В настоящее время¹ в суде разбирается тяжба, которая была начата почти двадцать лет тому назад; в которой иногда выступало от тридцати до сорока адвокатов одновременно; которая уже обошлась в семьдесят тысяч фунтов, истраченных на судебные пошлины; которая является *дружеской тяжбой* и которая (как меня уверяют) теперь не ближе к концу, чем в тот день, когда она началась. В Канцлерском суде разбирается и другая знаменитая тяжба, все еще не решенная, а началась она в конце прошлого столетия и поглотила в виде судебных пошлин уже не семьдесят тысяч фунтов, а в два с лишком раза больше. Если бы понадобились другие доказательства того, что тяжбы, подобные делу «Джарндисы против Джарндисов», существуют, я мог бы в изобилии привести их на этих страницах к стыду... скаредного общества.

Есть еще одно обстоятельство, о котором я хочу коротко упомянуть. С того самого дня, как умер мистер Крук, некоторые лица отрицают, что так называемое *самовозгорание* возможно; после того как кончина Крука была описана, мой добный друг, мистер Льюис (быстро убедившийся в том, что глубоко ошибается, полагая, будто специалисты уже перестали изучать это явление), опубликовал несколько остроумных писем ко мне, в которых доказывал, что самовозгорания быть не может. Должен заметить, что я не ввожу своих читателей в заблуждение ни умышленно, ни по небрежности и, перед тем как писать о самовозгорании, постарался изучить этот вопрос. Известно около тридцати случаев самовозгорания, и самый знаменитый из них, произшедший с графиней Корнелией де Байди Чезенате, был тщательно изучен и описан веронским преображенарием Джузеппе Бианкини, известным литератором, опубликовавшим статью об этом случае в 1731 году в Вероне и позже, вторым изданием, в Риме. Обстоятельства смерти графини не вызывают никаких обоснованных сомнений и весьма сходны с обстоятельствами смерти мистера Крука. Вторым в ряду наиболее известных

¹ В августе 1853 г. (*Примеч. автора.*)

происшествий этого рода можно считать случай, имевший место в Реймсе шестью годами раньше и описанный доктором Ле Ка, одним из самых известных хирургов во Франции. На этот раз умерла женщина, мужа которой, по недоразумению, обвинили в ее убийстве, но оправдали после того, как он подал хорошо аргументированную апелляцию в выше-стоящую инстанцию, так как свидетельскими показаниями было неопровергимо доказано, что смерть последовала от самовозгорания. Я не считаю нужным добавлять к этим знаменательным фактам и тем общим ссылкам на авторитет специалистов, которые даны в главе XXXIII¹, мнения и исследования знаменитых профессоров-медиков, французских, английских и шотландских, опубликованные в более позднее время; отмечу только, что не откажусь от признания этих фактов, пока не произойдет основательное «самовозгорание» тех свидетельств, на которых основываются суждения о происшествиях с людьми.

В «Холодном доме» я намеренно подчеркнул романтическую сторону будничной жизни.

¹ Другой случай, очень обстоятельно описанный одним зубным врачом, был отмечен в Соединенных Штатах Америки, в городе Колумбусе, совсем недавно. Он произошел с немцем, содержателем винной лавки, горьким пьяницей. (*Примеч. автора.*)

ГЛАВА I

В Канцлерском суде

Лондон. Осенняя судебная сессия — «Сессия Михайлова дня» — недавно началась, и лорд-канцлер восседает в Линкольнс-Инн-Холле. Несносная ноябрьская погода. На улицах такая слякоть, словно воды потопа только что склынули с лица земли, и, появившись на Холборн-Хилле мегалозавр длиной футов в сорок, плетущийся, как слоноподобная ящерица, никто бы не удивился. Дым стелется, едва поднявшись из труб, он словно мелкая черная изморось, и чудится, что хлопья сажи — это крупные снежные хлопья, надевшие трапур по умершему солнцу. Собаки так вымазались в грязи, что их и не разглядишь. Лошади едва ли лучше — они забрызганны по самые наглазники. Пешеходы, поголовно заразившись раздражительностью, тычут друг в друга зонтами и теряют равновесие на перекрестках, где, с тех пор как рассвело (если только в этот день был рассвет), десятки тысяч других пешеходов успели споткнуться и поскользнуться, добавив новые вклады в ту уже скопившуюся — слой на слое — грязь, которая в этих местах цепко прилипает к мостовой, нарастающая, как сложные проценты.

Туман везде. Туман в верховьях Темзы, где он плывет над зелеными островками и лугами; туман в низовьях Темзы, где он, утратив свою чистоту, клубится между лесом мачт и прибрежными отбросами большого (и грязного) города. Туман на Эссекских болотах, туман на Кентских возвышенностях. Туман ползет в камбузы угольных бригов; туман лежит на реях и плывет сквозь снасти больших кораблей; туман оседает на бортах баржей и шлюпок. Туман слепит глаза и забывает глотки престарелым гринвичским пенсионерам, хрипящим у каминов в доме призрения; туман проник в чубук и головку трубки, которую курит после обеда сердитый

шкипер, засевший в своей тесной каюте; туман жестоко щиплет пальцы на руках и ногах его маленького юнги, дрожащего на палубе. На мостах какие-то люди, перегнувшись через перила, заглядывают в туманную преисподнюю и, сами окутанные туманом, чувствуют себя как на воздушном шаре, что висит среди туч.

На улицах свет газовых фонарей кое-где чуть маячит сквозь туман, как иногда чуть маячит солнце, на которое крестьянин и его работник смотрят с пашни, мокрой, словно губка. Почти во всех магазинах газ зажгли на два часа раньше обычного, и, кажется, он это заметил — светит тускло, точно нехотя.

Сырой день всего сырее, и густой туман всего гуще, и грязные улицы всего грязнее у ворот Тэмпл-Бара, сей крытой свинцом древней заставы, что отменно украшает подступы, но преграждает доступ к некоей свинцоволобой древней корпорации. А по соседству с Тэмпл-Баром, в Линкольн-Инн-Холле, в самом сердце тумана восседает лорд верховный канцлер в своем Верховном Канцлерском суде.

И в самом непроглядном тумане, и в самой глубокой грязи и трясине невозможно так заплутаться и так увязнуть, как ныне плутает и вязнет перед лицом земли и неба Верховный Канцлерский суд, этот зловреднейший из старых грешников.

День выдался под стать лорд-канцлеру — в такой и только в такой вот день подобает ему здесь восседать, — и лорд-канцлер здесь восседает сегодня с туманным ореолом вокруг головы, в мягкой ограде из малиновых сукон и драпировок, слушая обратившегося к нему дородного адвоката с пышными бакенбардами и тоненьkim голоском, читающего нескончаемое краткое изложение судебного дела, и созерцая окно верхнего света, за которым он видит туман и только туман. День выдался под стать членам адвокатуры при Верховном Канцлерском суде, — в такой-то вот день и подобает им здесь блуждать, как в тумане, и они в числе примерно двадцати человек сегодня блуждают здесь, разбираясь в одном из десяти тысяч пунктов некоей донельзя затянувшейся тяжбы, подставляя ножку друг другу на скользких precedентах, по колено увязая в технических затруднениях, колотясь головами в защитных париках из козьей шерсти и конского волоса о стены пустословия и по-актерски серьезно делая вид, будто вершат правосудие. День выдался под стать всем причаст-

ным к тяжбе поверенным, из коих двое-трое унаследовали ее от своих отцов, зашибивших на ней деньги, — в такой-то вот день и подобает им здесь сидеть, в длинном, устланном коврами «колодце» (хоть и бессмысленно искать Истину на его дне); да они и сидят здесь все в ряд между покрытым красным сукном столом регистратора и адвокатами в шелковых мантиях, навалив перед собой кипы исков, встречных исков, отводов, возражений ответчиков, постановлений, свидетельских показаний, судебных решений, референтских справок и референтских докладов, — словом, целую гору чепухи, что обошлась очень дорого.

Да как же суду этому не тонуть во мраке, рассеять который бессильны горящие там и сям свечи; как же туману не висеть в нем такой густой пеленой, словно он застрял тут навсегда; как цветным стеклам не потускнеть настолько, что дневной свет уже не проникает в окна; как непосвященным прохожим, заглянувшим внутрь сквозь стеклянные двери, осмелиться войти сюда, не убоявшись этого зловещего зрелища и тягучих словопрений, которые глухо отдаются от потолка, прозвучав с помоста, где восседает лорд верховный канцлер, созерцая верхнее окно, не пропускающее света, и где все его приближенные париконосцы заблудились в тумане! Ведь это Канцлерский суд, и в любом графстве найдутся дома, разрушенные, и поля, заброшенные по его вине, в любом сумасшедшем доме найдется замученный человек, которого он свел с ума, а на любом кладбище — покойник, которого он свел в могилу; ведь это он разорил истца, который теперь ходит в стоптанных сапогах, в поношенном платье, занимая и клянча у всех и каждого; это он позволяет могуществу денег бессовестно попирать право; это он так истощает состояния, терпение, мужество, надежду, так подавляет умы и разбивает сердца, что нет среди судейских честного человека, который не стремится предостеречь, больше того — который часто не предостерегает людей: «Лучше стерпеть любую обиду, чем подать жалобу в этот суд!»

Так кто же в этот хмурый день присутствует в суде лорд-канцлера, кроме самого лорд-канцлера, адвоката, выступающего по делу, которое разбирается, двух-трех адвокатов, никогда не выступающих ни по какому делу, и вышеупомянутых поверенных в «колодце»? Здесь, в парике и мантии, присутствует секретарь, сидящий ниже судьи; здесь, облачен-

ные в судейскую форму, присутствуют два-три блюстителя не то порядка, не то законности, не то интересов короля. Все они одержимы зевотой — ведь они никогда не получают ни малейшего развлечения от тяжбы «Джарндисы против Джарндинсов» (того судебного дела, которое слушается сегодня), ибо все интересное было выжато из нее многие годы тому назад. Стенографы, судебные докладчики, газетные репортеры неизменно удирают вместе с прочими завсегдатаями, как только дело Джарндисов выступает на сцену. Их места уже опустели. Стремясь получше разглядеть все, что происходит в задрапированном святилище, на скамью у боковой стены взобралась щупленькая, полуумная старушка в измятой шляпке, которая вечно торчит в суде от начала и до конца заседаний и вечно ожидает, что решение каким-то непостижимым образом состоится в ее пользу. Говорят, она действительно с кем-то судится или судилась; но никто этого не знает наверное, потому что никому до нее нет дела. Она всегда таскает с собой в ридикюле какой-то хлам, который называет своими «документами», хотя он состоит главным образом из бумажных спичек и сухой лаванды. Арестант с землистым лицом является под конвоем — чуть не в десятый раз, — лично просить о снятии с него «обвинения в оскорблении суда», но просьбу его вряд ли удовлетворят, ибо он был когда-то одним из чьих-то душеприказчиков, пережил их всех и безнадежно запутался в каких-то счетах, о которых, по общему мнению, и знать не знал. Тем временем все его надежды на будущее рухнули. Другой разоренный истец, который время от времени приезжает из Шропшира, каждый раз всеми силами стараясь добиться разговора с канцлером после конца заседаний, и которому невозможно растолковать, почему канцлер, четверть века отравлявший ему жизнь, теперь вправе о нем забыть, — другой разоренный истец становится на видное место и следит глазами за судьей, готовый, едва тот встанет, воззвать громким и жалобным голосом: «Милорд!» Несколько адвокатских клерков и других лиц, знающих этого просителя в лицо, задерживаются здесь в надежде позабавиться на его счет и тем разогнать скучу, навеянную скверной погодой.

Нудное судоговорение по делу Джарндисов все тянетсѧ и тянетсѧ. В этой тяжбе — пугале, а не тяжбе! — с течением времени все так перепуталось, что никто не может в ней ни-

чего понять. Сами тяжущиеся разбираются в ней хуже других, и общеизвестно, что даже любые два юриста Канцлерского суда не могут поговорить о ней и пять минут без того, чтобы не разойтись во мнениях относительно всех ее пунктов. Нет числа младенцам, что сделались участниками этой тяжбы, едва родившись на свет; нет числа юношам и девушкам, что породнились с нею, как только вступили в брак; нет числа старикам, что выпутились из нее лишь после смерти. Десятки людей с ужасом узнавали вдруг, что они неизвестно как и почему оказались замешанными в тяжбе «Джарндицы против Джарндинсов»; целые семьи унаследовали вместе с нею старые полузабытые распри. Маленький истец или ответчик, которому обещали подарить новую игрушечную лошадку, как только дело Джарндинсов будет решено, успевал вырасти, обзавестись настоящей лошадью и ускакать на тот свет. Опекаемые судом красавицы-девушки увяли, сделавшись материами, а потом бабушками; прошла длинная вереница сменявших друг друга канцлеров; кипы приобщенных к делу свидетельств по искам уступили место кратким свидетельствам о смерти; с тех пор как старый Том Джарндинс впал в отчаяние и, войдя в кофейню на Канцлерской улице, пустил себе пулю в лоб, на земле не осталось, кажется, и трех Джарндинсов, но тяжба «Джарндицы против Джарндинсов» все еще тянется в суде — год за годом, томительная и безнадежная.

Тяжба Джарндинсов дает пищу остроумию. Больше ничего хорошего из нее не вышло. Многим людям она принесла смерть, зато в судебской среде она дает пищу остроумию. Каждый референт Канцлерского суда наводил справки в приобщенных к ней документах. Каждый канцлер, в бытность свою адвокатом, выступал в ней от имени того или иного лица. Старшины юридических корпораций — пожилые юристы с сизыми носами и в тупоносых башмаках — не раз удачно острили на ее счет, заседая после обеда в избранном кругу своей «комиссии по распитию портвейна». Ученники-клерки привыкли оттачивать на ней свое юридическое острорословие. Теперь лорд-канцлер как-то раз тонко выражил всеобщее отношение к тяжбе: видный адвокат мистер Блоуэрс сказал про что-то: «Это будет, когда с неба хлынет картофельный дождь», а канцлер заметил: «Или когда мы

распутаем дело Джарнисов, мистер Блоуэрс», и этой шутке тогда до упаду смеялись блюстители порядка, законности и интересов короля.

Трудно ответить на вопрос: сколько людей, даже не причастных к тяжбе «Джарнисы против Джарнисов», было испорчено и совращено с пути истинного ее губительным влиянием. Она развратила всех судейских, начиная с референта, который хранит стопы насаженных на шпильки, пропыленных, уродливо измятых документов, приобщенных к тяжбе, и кончая последним клерком-переписчиком в «Палате шести клерков», переписавшим десятки тысяч листов формата «канцлерский фолио» под неизменным заголовком «Джарнисы против Джарнисов». Под какими бы благовидными предлогами ни совершались вымогательство, надувательство, издевательство, подкуп и волокита, они тлетворны, и ничего, кроме вреда, принести не могут. Даже мальчишкам-слугам поверенных, издавна приучившимся не впускать несчастных просителей, уверяя их, будто мистер Чизл, Мизл — или как его там зовут? — сегодня особенно перегружен работой и занят до самого обеда, — даже этим мальчишкам пришлось лишний раз покривить душой из-за тяжбы Джарнисов. Сборщику судебных пошлин она принесла изрядную сумму денег, а в придачу — недоверие ко всем, даже к родной матери, — и презрение к близким. Чизл, Мизл — или как их там зовут? — привыкли давать себе туманные обещания разобраться в таком-то затянувшемся дельце и посмотреть, нельзя ли чем-нибудь помочь Дризлу, — с которым так плохо обошлись, — но не раньше, чем их контора развязется с делом Джарнисов. Повсюду рассеяло это злополучное дело семена жульничества и жадности всех видов, и даже те люди, которые наблюдали за развитием тяжбы, находясь за пределами ее порочного круга, сами того не заметив, поддались искущению беспринципно махнуть рукой на все дурное вообще и, предоставив ему идти все тем же дурным путем, столь же беспринципно решили, что если мир плох, значит устроен он как попало и не суждено ему быть хорошим.

Так в самой гуще грязи и в самом сердце тумана восседает лорд верховный канцлер в своем Верховном Канцлерском суде.

— Мистер Тенгл, — говорит лорд верховный канцлер, не вытерпев наконец красноречия этого ученого джентльмена.

— М'лорд? — отзыается мистер Тенгл.

Никто так тщательно не изучил дела «Джарндисы против Джарндисов», как мистер Тенгл. Он этим славится, — говорят даже, будто он со школьной скамьи ничего другого не читал.

— Вы скоро закончите изложение своих доводов?

— Нет, м'лорд... много разнообразных вопросов... но мой долг повиноваться... ваш' милости, — выскользывает ответ из уст мистера Тенгла.

— Мы должны выслушать еще нескольких адвокатов, не правда ли? — говорит канцлер с легкой усмешкой.

Восемнадцать ученых собратьев мистера Тенгла, каждый из которых вооружен кратким изложением дела на восемнадцати сотнях листов, подскочив, словно восемнадцать молоточков в рояле, и отвесив восемнадцать поклонов, опускаются на свои восемнадцать мест, тонущих во мраке.

— Мы продолжим слушание дела через две недели, в среду, — говорит канцлер.

Надо сказать, что вопрос, подлежащий обсуждению, это всего лишь вопрос о судебных пошлинах, ничтожный росток в дремучем лесу породившей его тяжбы, — и уж он-то, несомненно, будет разрешен рано или поздно.

Канцлер встает; адвокаты встают; арестанта поспешно выводят вперед; человек из Шропшира взывает: «Милорд!» Блюстители порядка, законности и интересов короля негодующие кричат: «Тише!» — бросая суровые взгляды на человека из Шропшира.

— Что касается, — начинает канцлер, все еще продолжая судоговорение по делу «Джарндисы против Джарндисов», — что касается молодой девицы...

— Прош' прощенья, ваш' милость... молодого человека, — преждевременно вскакивает мистер Тенгл.

— Что касается, — снова начинает канцлер, произнося слова особенно внятно, — молодой девицы и молодого человека, то есть обоих молодых людей...

(Мистер Тенгл повержен во прах.)

— ...коих я сегодня вызвал и кои сейчас находятся в моем кабинете, то я побеседую с ними и рассмотрю вопрос —

целесообразно ли вынести решение о дозволении им проживать у их дяди.

Мистер Тенгл снова вскакивает.

— Прош' прощенья, ваш' милость... он умер.

— Если так, — канцлер, приложив к глазам лорнет, просматривает бумаги на столе, — то у их деда.

— Прош' прощенья, ваш' милость... дед пал жертвой... собственной опрометчивости... пустил пулю в лоб.

Тут из дальних скоплений тумана внезапно возникает крохотный адвокат и, пыжась изо всех сил, гудит громоподобным басом:

— Ваша милость, разрешите мне? Я выступаю от имени своего клиента. Молодым людям он приходится родственником в отдаленной степени родства. Я пока не имею возможности дождаться суду — в какой именно степени, но он бесспорно их родственник.

Эта речь (произнесенная замогильным голосом) еще звучит где-то в вышине меж стропилами, а крохотный адвокат уже плюхнулся на свое место, скрывшись в тумане. Все его ищут глазами. Никто не видит его.

— Я побеседую с обоими молодыми людьми, — повторяет канцлер, — и рассмотрю вопрос о дозволении им проживать у их родственника. Я сообщу о своем решении завтра утром, когда открою заседание.

Канцлер уже собирается легким поклоном отпустить адвокатов, но тут подводят арестанта. Его запутанные дела, по-видимому, невозможно распутать, и остается только отдать приказ отвести его обратно в тюрьму, что и выполняют немедленно. Человек из Шропшира решается возвзять еще раз: «Милорд!» — но канцлер, заметив его, мгновенно исчезает. Все остальные тоже исчезают мигом. Батарею синих мешков заряжают тяжелыми бумажными снарядами, и клерки ташат ее прочь; полуумная старушка удаляется вместе со своими документами; опустевший суд запирают.

О, если б можно было здесь запереть всю им содеянную несправедливость, все горе, им принесенное, и сжечь дотла вместе с ним как огромный погребальный костер, — какое это было бы счастье и для лиц, непричастных к тяжбе «Джарндисы против Джарндисов»!

ГЛАВА II

В большом свете

В этот слякотный день нам довольно лишь мельком взглянуть на большой свет. Он не так уж резко отличается от Канцлерского суда, и нам нетрудно будет сразу же перенестись из одного мира в другой. И большой свет и Канцлерский суд скованы прецедентами и обычаями: они — как заспавшиеся Рипы Ван-Уинклы, что и в сильную грозу играли в странные игры; они — как спящие красавицы, которых когда-нибудь разбудит рыцарь, после чего все вертелы в кухне, теперь неподвижные, завертятся стремительно!

Большой свет не велик. Даже по сравнению с миром таких, как мы, впрочем тоже имеющим свои пределы (в чем вы, ваша светлость, убедитесь, когда, изъездив его вдоль и попрек, окажетесь перед зияющей пустотой), большой свет — всего лишь крошечное пятнышко. В нем много хорошего; много хороших, достойных людей; он занимает предназначеннное ему место. Но все зло в том, что этот изнеженный мир живет, как в футляре для драгоценностей, слишком плотно закутанный в мягкие ткани и тонкое сукно, а потому не слышит шума более обширных миров, не видит, как они вращаются вокруг солнца. Это отмирающий мир, и порождения его болезненны, ибо в нем нечем дышать.

Миледи Дедлок вернулась в свой лондонский дом и дня через три-четыре отбудет в Париж, где ее милость собирается пробыть несколько недель; куда она отправится потом, еще неизвестно. Так, стремясь осчастливить парижан, предвещает великосветская хроника, а кому, как не ей, знать обо всем, что делается в большом свете. Узнавать об этом из других источников было бы не по-светски. Миледи Дедлок провела некоторое время в своей линкольнширской «усадьбе», как она говорит, беседуя в тесном кругу. В Линкольншире настоящий потоп. Мост в парке обрушился — одну его арку подмыло и унесло паводком. Низина вокруг превратилась в запруженную реку шириной в полмили, и унылые деревья островками торчат из воды, а вода вся в пузырьках — ведь дождь льет и льет день-деньской. В «усадьбе» миледи Дедлок скука была невыносимая. Погода стояла такая сырая, много дней и ночей напролет так лило, что деревья, должно быть,

отсырели насквозь, и когда лесник подсекает и обрубает их, не слышно ни стука, ни треска — кажется, будто топор бьет по-мягкому. Олени, наверное, промокли до костей, и там, где они проходят, в их следах стоят лужицы. Выстрел в этом влажном воздухе звучит глухо, а дымок из ружья ленивым облачком тянется к зеленому холму с рощицей на вершине, на фоне которого отчетливо выделяется сетка дождя. Вид из окон в покоях миледи Дедлок напоминает то картину, написанную свинцовой краской, то рисунок, сделанный китайской тушью. Вазы на каменной террасе перед домом весь день наполняются дождевой водой, и всю ночь слышно, как она переливается через край и падает тяжелыми каплями — кап-кап-кап — на широкий настил из плитняка, исстари прозванный «Дорожкой призрака». В воскресенье пойдешь в церковь, что стоит среди парка, видишь — вся она внутри заплесневела, на дубовой кафедре выступил холодный пот, и чувствуешь такой запах, такой привкус во рту, словно входишь в склеп дедлоковских предков. Как-то раз миледи Дедлок (женщина бездетная), глядя ранними сумерками из своего будуара на сторожку привратника, увидела отблеск каминного пламени на стеклах решетчатых окон, и дым, поднимающийся из трубы, и женщину, догоняющую ребенка, который выбежал под дождем к калитке навстречу мужчине в kleenчатом плаще, блестящем от влаги, — увидела и потеряла душевное спокойствие. И миледи Дедлок теперь говорит, что все это ей «до смерти надоело».

Вот почему миледи Дедлок сбежала из линкольнширской усадьбы, предоставив ее дождю, воронам, кроликам, оленям, куропаткам и фазанам. А в усадьбе домоправительница прошла по комнатам старинного дома, закрывая ставни, и портреты покойных Дедлоков исчезли — словно скрылись от неизбывной тоски в отсыревшие стены. Скоро ли они вновь появятся на свет Божий — этого даже великосветская хроника, всеведущая, как дьявол, когда речь идет о прошлом и настоящем, но не ведающая будущего, пока еще предсказать не решается.

Сэр Лестер Дедлок всего лишь баронет, но нет на свете баронета более величественного. Род его так же древен, как горы, но бесконечно почтеннее. Сэр Лестер склонен думать, что мир, вероятно, может обойтись без гор, но он погибнет без Дедлоков. О природе он, в общем, мог бы сказать, что

замысел ее хорош (хоть она, пожалуй, немножко вульгарна, когда не заключена в ограду парка), но замысел этот еще предстоит осуществить, что всецело зависит от нашей земельной аристократии. Это джентльмен строгих правил, презирающий все мелочное и низменное, и он готов когда угодно пойти на какую угодно смерть, лишь бы на его безупречно честном имени не появилось ни малейшего пятнышка. Это человек почтенный, упрямый, правдивый, великолодушный, с закоренелыми предрассудками и совершенно неспособный прислушиваться к голосу разума.

Сэр Лестер на добрых два десятка лет старше миледи. Ему уже перевалило за шестьдесят пять или шестьдесят шесть лет, а то и за все шестьдесят семь. Время от времени он страдает приступами подагры, и походка у него немного деревянная. Вид у него представительный: серебристо-серые волосы и бакенбарды, тонкое жабо, белоснежный жилет, синий сюртук, который всегда застегнут на все пуговицы, начищенные до блеска. Он церемонно учтив, важен, изысканно вежлив с миледи во всех случаях жизни и превыше всего ценит ее обаяние. К миледи он относится по-рыцарски, — так же, как в те времена, когда добивался ее руки, — и это — единственная романтическая черточка в его натуре.

Что и говорить, женился он на ней по любви, только по любви. До сего времени ходят слухи, будто она даже не рождовита; впрочем, сам сэр Лестер происходит из столь знатного рода, что, вероятно, решил удовольствоваться им и обойтись без новых родственных связей. Зато миледи так прекрасна, так горда и честолюбива, одарена такой дерзновенной решительностью и умом, что может затмить целый легион светских дам. Эти качества в сочетании с богатством и титулом быстро помогли ей подняться в высшие сферы, и вот уже много лет, как миледи Дедлок пребывает в центре внимания великосветской хроники, на верхней ступени великосветской лестницы.

О том, как лил слезы Александр Македонский, осознав, что он завоевал весь мир и больше завоевывать нечего, знает каждый или может узнать теперь, потому что об этом стали упоминать довольно часто. Миледи Дедлок, завоевав *свой* мирок, не только не изошла слезами, но как бы оледенела. Утомленное самообладание, равнодушие пресыщения, такая невозмутимость усталости, что никаким интересам и удо-

вольствиям ее не всколыхнуть, — вот победные трофеи этой женщины. Держится она безукоризненно. Если бы завтра ее вознесли на небеса, она, вероятно, поднялась бы туда, не выразив ни малейшего восторга.

Она все еще хороша собой, и хотя красота ее уже пережила летний расцвет, но осень для нее еще не наступала. Лицо у леди Дедлок примечательное — раньше его можно было назвать скорее очень миловидным, чем красивым, но с годами оно приобрело выражение, свойственное лицам высокопоставленных женщин, и это придало ее чертам классическую строгость. Она очень стройна и потому кажется высокой. На самом деле она среднего роста, но, как не раз клятвенно утверждал достопочтенный Боб Стейблс, «она умеет выставить свои стати в самом выгодном свете». Тот же авторитетный ценитель находит, что «экстерьер у нее безупречный», и, в частности, по поводу ее прически отмечает, что она «самая выхоленная кобылица во всей конюшне».

Итак, украшенная всеми совершенствами, миледи Дедлок (неотступно преследуемая великосветской хроникой) приехала в Лондон из линкольнширской усадьбы, чтобы провести дня три-четыре в своем городском доме, а затем отбыть в Париж, где ее милость собирается прожить несколько недель; куда она отправится потом, пока еще не ясно. А в городском ее доме в этот слякотный, хмурый день появляется старосветский пожилой джентльмен, ходатай по делам, а также поверенный при Верховном Канцлерском суде, имеющий честь быть фамильным юристом Дедлоков, имя которых начертано на стольких чугунных ящиках, стоящих в его кабинете, как будто ныне здравствующий баронет не человек, а монета, беспрерывно перелетающая по мановению фокусника из одного ящика в другой. Через вестибюль, вверх по лестнице, по коридорам, по комнатам, столь праздничным во время лондонского сезона и столь унылым остальное время года — страна чудес для посетителей, но пустыня для обитателей, — Меркурий в пудреном парике провожает пожилого джентльмена к миледи.

Пожилой джентльмен выглядит немного обветшальным, хотя, по слухам, он очень богат, ибо нажил большое состояние на заключении брачных договоров и составлении завещаний для членов аристократических семейств. Окруженный таинственным ореолом хранителя семейных тайн, он, как

всем известно, владеет ими, не открывая их никому. Мавзолеи аристократии, век за веком врастаящие в землю на уединенных прогалинах парков, среди молодой поросли и папоротника, хранят, быть может, меньше аристократических тайн, чем грудь мистера Талкингхорна, запертые в которой эти тайны бродят вместе с ним по белу свету. Он, что называется, «человек старой школы» — в этом образном выражении речь идет о школе, которая, кажется, никогда не была молодой, — и носит короткие штаны, стянутые лентами у колен, и гетры или чулки. Его черный костюм и черные чулки, все равно шелковые они или шерстяные, имеют одну отличительную особенность: они всегда тусклы. Как и он сам, платье его не бросается в глаза, застегнуто наглухо и не меняет своего оттенка даже при ярком свете. Он ни с кем никогда не разговаривает — разве только если с ним советуются по юридическим вопросам. Иногда можно увидеть, как он, молча, но чувствуя себя как дома, сидит в каком-нибудь крупном поместье на углу обеденного стола или стоит у дверей гостиной, о которой красноречиво повествует велико-светская хроника; здесь он знаком со всеми, и половина английской знати, проходя мимо, останавливается, чтобы сказать ему: «Как поживаете, мистер Талкингхорн?» Он без улыбки принимает эти приветствия и хоронит их в себе вместе со всем, что ему известно.

Сэр Лестер Дедлок сидит у миледи и рад видеть мистера Талкингхорна. Мистер Талкингхорн как будто сознает, что принадлежит Дедлокам по праву давности, а это всегда приятно сэру Лестеру; он принимает это как некую дань. Ему нравится костюм мистера Талкингхорна: подобный костюм тоже в некотором роде — дань. Он безукоризненно приличен, но все-таки чем-то смахивает на ливрею. Он облекает, если можно так выразиться, хранителя юридических тайн, дворецкого, ведающего юридическим погребом Дедлоков.

Подозревает ли об этом сам мистер Талкингхорн? Быть может, да, а может быть, и нет; но следует отметить одну замечательную особенность, единственную миледи Дедлок, как дочери своего класса, как одной из предводительниц и представительниц своего мира: смотрясь в зеркало, созданное ее воображением, она видит себя каким-то непостижимым существом, совершенно недоступным для понимания простых смертных, и в этом зеркале она действительно

выглядит так. Однако любая тусклая планетка, вращающаяся вокруг нее, начиная с ее собственной горничной и кончая директором Итальянской оперы, знает ее слабости, предрассудки, причуды, аристократическое высокомерие, капризы и кормится тем, что подсчитывает и измеряет ее душевые качества с такой же точностью и так же тщательно, как портниха снимает мерку с ее талии.

Допустим, что понадобилось создать моду на новый фасон платья, новый обычай, нового певца, новую танцовщицу, новое драгоценное украшение, нового карлика или великана, новую часовню — что-нибудь новое, все равно что. Этим займутся угодливые люди самых различных профессий, которые, по глубокому убеждению миледи Дедлок, способны лишь на преклонение перед ее особой, но в действительности могут научить вас командовать ею, как ребенком, — люди, которые всю свою жизнь только и делают, что нянчатся с ней, смиренно притворяясь, будто следуют за нею с величайшим подобострастием, на самом же деле ведут ее и всю ее свиту на поводу и, зацепив одного, непременно зацепят и уведут всех, куда хотят, как Лемюэль Гулливер увел грозный флот величественной Лилипутии.

— Если вы хотите привлечь внимание наших, сэр, — говорят ювелиры Блейз и Спаркл, подразумевая под «наших» леди Дедлок и ей подобных, — вы должны помнить, что имеете дело не с широкой публикой; вы должны поразить их в самое уязвимое место, а их самое уязвимое место — вот это.

— Чтобы выгодно распродать этот товар, джентльмены, — говорят галантейщики Шайн и Глосс своим знакомым фабрикантам, — вы должны обратиться к нам, потому что мы умеем привлекать светскую клиентуру и можем создать моду на ваш товар.

— Если вы желаете видеть эту гравюру на столе у моих высокопоставленных клиентов, сэр, — говорит книгопрода- вец мистер Следдери, — если вы желаете ввести этого карлика или этого великана в дома моих высокопоставленных клиентов, сэр, если вы желаете обеспечить успех этому спектаклю у моих высокопоставленных клиентов, сэр, осмелюсь посоветовать вам поручить это дело мне, ибо я имею обыкновение изучать тех, кто задает тон в среде моих высокопоставленных клиентов, сэр, и, скажу не хвастаясь, могу обвести их вокруг пальца.

И, говоря это, мистер Следдери — человек честный — отнюдь не преувеличивает.

Итак, мистер Талкингхорн, быть может, не знает, что сейчас на душе у Дедлоков; но, скорей всего, знает.

— Дело миледи сегодня опять разбиралось в Канцлерском суде, не правда ли, мистер Талкингхорн? — спрашивает сэр Лестер, протягивая ему руку.

— Да. Сегодня оно опять разбиралось, — отвечает мистер Талкингхорн, как всегда неторопливо кланяясь миледи, которая сидит на диване у камина и, держа перед собой ручной экран, защищает им лицо от огня.

— Не стоит и спрашивать, вышло ли из этого хоть что-нибудь путное, — говорит миледи с таким же скучающим видом, какой был у нее в линкольнширской усадьбе.

— Ничего такого, что *вы* назвали бы «путным», сегодня не вышло, — отзыается мистер Талкингхорн.

— Да и никогда не выйдет, — говорит миледи.

Сэр Лестер не против бесконечных канцлерских тяжб. Тянутся они долго, денег стоят уйму, зато соответствуют британскому духу и конституции. Правда, сэр Лестер не очень заинтересован в тяжбе «Джарндисы против Джарндисов», хотя, кроме участия в ней — и, значит, надежды на наследство, — миледи не принесла ему никакого приданого, и он только смутно ощущает, как нелепейшую случайность, что его фамилия — фамилия Дедлок — встречается лишь в бумагах, приобщенных к какой-то тяжбе, тогда как должна бы стоять в ее заголовке. Но, по его мнению, Канцлерский суд, даже если он порой несколько замедляет правосудие и слегка путается, все-таки есть нечто, изобретенное — вкупе со многими другими «нечто» — совершенным человеческим разумом для закрепления навечно всего на свете. Вообще он твердо убежден, что санкционировать своей моральной поддержкой жалобы на этот суд все равно что подстрекать какого-нибудь простолюдина поднять где-нибудь восстание... по примеру Уота Тайлера.

— Ввиду того что к делу приобщено несколько новых показаний, притом коротких, — начинает мистер Талкингхорн, — и ввиду того что у меня есть пресковерный обычай докладывать моим клиентам — с их разрешения — обо всех новых обстоятельствах их судебного дела, — осторожный мистер Талкингхорн предпочитает не брать на себя лишней

ответственности, — и далее, поскольку вы, как мне известно, собираетесь в Париж, я принес с собой эти показания.

(Сэр Лестер, кстати сказать, тоже собирается в Париж, но великосветская хроника жадно интересуется только его супругой.)

Мистер Талкингхорн вынимает бумаги, просит разрешения положить их на великолепный позолоченный столик, у которого сидит миледи, и, надев очки, начинает читать при свете лампы, прикрытой абажуром:

— «В Канцлерском суде. Между Джоном Джарндисом...»

Миледи прерывает его просьбой по возможности опускать «всю эту судейскую тарабарщину».

Мистер Талкингхорн бросает на нее взгляд поверх очков и, пропустив несколько строк, продолжает читать. Миледи с небрежным и презрительным видом перестает слушать. Сэр Лестер, покоясь в огромном кресле, смотрит на пламя камина и, кажется, величественно одобряет перегруженное бесчисленными повторами судейское многословие, видимо почитая его одним из оплотов нации. Там, где сидит миледи, становится жарко, а ручной экран, хоть и драгоценный, слишком мал; он красив, но бесполезен. Пересев на другое место, миледи замечает бумаги на столе... присматривается к ним... присматривается внимательней... и вдруг спрашивает:

— Кто это переписывал?

Мистер Талкингхорн мгновенно умолкает, изумленный волнением миледи и необычным для нее тоном.

— Кажется, такой почерк называется у вас, юристов, писарским почерком? — спрашивает она, снова приняв небрежный вид, и, обмахиваясь ручным экраном, пристально смотрит мистеру Талкингхорну в лицо.

— Нет, не сказал бы, — отвечает мистер Талкингхорн, рассматривая бумаги. — Вероятно, этот почерк приобрел писарской характер уже после того, как установился. А почему вы спрашиваете?

— Просто так, для разнообразия — очень уж скучно слушать. Но продолжайте, пожалуйста, продолжайте!

Мистер Талкингхорн снова принимается за чтение. Становится еще жарче; миледи загораживает лицо экраном. Сэр Лестер дремлет; но внезапно он вскакивает с криком:

— Как? Что вы сказали?

— Я сказал, — отвечает мистер Талкингхорн, быстро поднявшись, — «боюсь, что миледи Дедлок нездоровится».

— Мне дурно, — шепчет миледи побелевшими губами, — только и всего; но дурно, как перед смертью. Не говорите со мной. Позвоните и проводите меня в спальню!

Мистер Талкингхорн переходит в другую комнату; звонят колокольчики; чьи-то шаги шаркают и топочут; но вот наступает тишина. Наконец Меркурий приглашает мистера Талкингхорна вернуться.

— Ей лучше, — говорит сэр Лестер, жестом предлагая поверенному сесть и читать вслух — теперь уже ему одному. — Я очень испугался. Насколько я знаю, у миледи никогда в жизни не было обмороков. Правда, погода совершенно невыносимая... и миледи до смерти соскучилась у нас в линкольнширской усадьбе.

ГЛАВА III Жизненный путь

Мне очень трудно приступить к своей части этого повествования, — ведь я знаю, что я не умная. Да и всегда знала. Помнится, еще в раннем детстве я часто говорила своей кукле, когда мы с ней оставались вдвоем:

— Ты же отлично знаешь, куколка, что я дурочка, так будь добра, не сердись на меня!

Румяная, с розовыми губками, она сидела в огромном кресле, откинувшись на его спинку, и смотрела на меня, — или, пожалуй, не на меня, а в пространство, — а я усердно делала стежок за стежком и поверила ей все свои тайны.

Милая старая кукла! Я была очень застенчивой девочкой — не часто решалась открыть рот, чтобы вымолвить слово, а сердца своего не открывала никому, кроме нее. Плакать хочется, когда вспомнишь, как радостно было, вернувшись домой из школы, взбежать наверх, в свою комнату, крикнуть: «Милая, верная куколка, я знала, ты ждешь меня!», сесть на пол и, прислонившись к подлокотнику огромного кресла, рассказывать ей обо всем, что я видела с тех пор, как мы расстались. Я с детства была довольно наблюдательная — но не сразу все понимала, нет! — просто я молча

наблюдала за тем, что происходило вокруг, и мне хотелось понять это как можно лучше. Я не могу соображать быстро. Но когда я очень нежно люблю кого-нибудь, я как будто яснее вижу все. Впрочем, возможно, что мне это только кажется потому, что я щеславна.

С тех пор как я себя помню, меня, как принцесс в сказках (только принцессы всегда красавицы, а я нет), воспитывала моя крестная. То есть мне говорили, что она моя крестная. Это была добродетельная, очень добродетельная женщина! Она часто ходила в церковь: по воскресеньям — три раза в день, а по средам и пятницам — к утренней службе, кроме того, слушала все проповеди, не пропуская ни одной. Она была красива, и если бы улыбалась хоть изредка, была бы прекрасна, как ангел (думала я тогда); но она никогда не улыбалась. Всегда оставалась серьезной и суровой. И она была такая добродетельная, что если и хмурилась всю жизнь, то лишь оттого, казалось мне, что видела, как плохи другие люди. Я чувствовала, что не похожа на нее ничем, что отличаюсь от нее гораздо больше, чем отличаются маленькие девочки от взрослых женщин, и казалась себе такой жалкой, такой ничтожной, такой чуждой ей, что при ней не могла держать себя свободно, мало того — не могла даже любить ее так, как хотелось бы любить. Я с грустью сознавала, до чего она добродетельна и до чего я недостойна ее, страстно надеялась, что когда-нибудь стану лучше, и часто говорила об этом со своей милой куклой; но все-таки я не любила крестной так, как должна была бы любить и любила бы, будь я настоящим хорошим девочкой.

От этого, думается мне, я с течением времени сделалась более робкой и застенчивой, чем была от природы, и привязалась к кукле — единственной подруге, с которой чувствовала себя легко. Я была совсем маленькой девочкой, когда случилось одно событие, еще больше укрепившее эту привязанность.

При мне никогда не говорили о моей маме. О папе тоже не говорили, но больше всего мне хотелось знать о маме. Не помню, чтобы меня когда-нибудь одевали в траурное платье. Мне ни разу не показали маминой могилы. Мне даже не говорили, где находится ее могила. Однако меня учили молиться только за крестную, — словно у меня и не было дру-

гих родственников. Не раз пыталась я, когда вечером уже лежала в постели, заговорить об этих волновавших меня вопросах с нашей единственной служанкой, миссис Рейчел (тоже очень добродетельной женщиной, но со мной обращавшейся строго), однако миссис Рейчел отвечала только: «Спокойной ночи, Эстер!», брала мою свечу и уходила, оставляя меня одну.

В нашей школе, где я была приходящей, училось семь девочек — они называли меня «крошкой Эстер Саммерсон», — но я ни к одной из них не ходила в гости. Правда, все они были гораздо старше и умнее меня и знали гораздо больше, чем я (я была много моложе других учениц), но, помимо различий в возрасте и развитии, нас, казалось мне, разделяло что-то еще. В первые же дни после моего поступления в школу (я это отчетливо помню) одна девочка пригласила меня к себе на вечеринку, чему я очень обрадовалась. Но крестная в самых официальных выражениях написала за меня отказ, и я не пошла. Я ни у кого не бывала в гостях.

Наступил день моего рождения. В дни рождения других девочек нас отпускали из школы, а в мой — нет. Дни рождения других девочек праздновали у них дома — я слышала, как ученицы рассказывали об этом друг другу; мой не праздновали. Мой день рождения был для меня самым грустным днем в году.

Я уже говорила, что, если меня не обманывает тщеславие (а я знаю, оно способно обманывать, и, может быть, я очень тщеславна, сама того не подозревая... впрочем, нет, не тщеславна), моя проницательность обостряется вместе с любовью. Я крепко привязываюсь к людям, и если бы теперь меня ранили, как в тот день рождения, мне, пожалуй, было бы так же больно, как тогда; но подобную рану нельзя перенести дважды.

Мы уже пообедали и сидели с крестной за столом у камина. Часы тикали, дрова потрескивали; не помню, как долго никаких других звуков не было слышно в комнате, да и во всем доме. Наконец, оторвавшись от шитья, я робко взглянула через стол на крестную, и в ее лице, в ее устремленном на меня хмуром взгляде прочла: «Лучше бы у тебя вовсе не было дня рождения, Эстер... лучше бы ты и не родилась на свет!»

Диккенс Ч.

Д 45 Холодный дом : роман / Чарльз Диккенс ; пер. с англ. М. Клягиной-Кондратьевой. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2020. — 1024 с. — (Азбука-классика). ISBN 978-5-389-18319-3

В центре действия романа великого английского прозаика Чарльза Диккенса «Холодный дом» (1852–1853) — история жизни юной сироты Эстер Саммерсон. Оказавшись на попечении случайного благодетеля мистера Джарндиса, она по окончании пансиона попадает в его старинное поместье, известное как Холодный дом, с которым связано едва ли не самое известное дело Верховного Канцлерского суда «Джарндисы против Джарндисов». Понемногу обижаивая свое новое жилище и обретая новых знакомых, девушка волею обстоятельств оказывается вовлечена в сложное переплетение человеческих судеб, личных чувств, криминальных интриг и чужих семейных тайн — и одна из этих тайн, как вскоре выясняется, имеет прямое отношение к самой Эстер...

**УДК 821.111
ББК 84(4Вел)-44**

Литературно-художественное издание

ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС
ХОЛОДНЫЙ ДОМ

Ответственный редактор Сергей Антонов

Художественный редактор Валерий Гореликов

Технический редактор Татьяна Раткевич

Компьютерная верстка Ирины Варламовой

Корректоры Дмитрий Капитонов, Юлия Теплова,
Маргарита Ахметова

Главный редактор Александр Жикаренцев

Подписано в печать 09.07.2020. Формат издания 75 × 100 $\frac{1}{32}$.
Печать офсетная. Тираж 4000 экз. Усл. печ. л. 45,12. Заказ № .

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака АЗБУКА®
115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, эт. 2, пом. III, ком. № 1
Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А
ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
Тел./факс: (044) 490-99-01. E-mail: sale@machaon.kiev.ua
Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1,
комплекс № 3А.
www.pareto-print.ru



A-AKB-26910-01-R